

Владислав Баяц

Человек, который ходил задом наперед, или Мой отец в Китае

[259]

ИЛ 6/2018

Перевод с сербского Василия Соколова

Автомобиль двигался, а время остановилось. Я сидел на заднем сидении, глубоко и удобно устроившись на нем. В таком комфортном положении наблюдать за пешеходами — одно удовольствие. Их передвижение по пекинским тротуарам на первый взгляд казалось обычным: все они шли параллельно автомобилю, кто-то в направлении его движения, а кто-то — в противоположном. Кроме одного пожилого господина, который словно двигался в обоих направлениях одновременно, потому что шел — задом наперед. Будто таким образом уничтожал течение времени.

Поначалу мне показалось, что это один из тех случаев, когда вы, находясь в какой-то степени в привилегированном положении, вдруг понимаете: мир слегка свихнулся. Но угол вашего зрения все же допускает некоторое отклонение от нормы. Вы так восторженно воспринимаете окружающую вас обстановку, словно поддались каким-то смутным желаниям. Именно в таком состоянии я и пребывал там и тогда, именно поэтому мне было легко путешествовать по Китаю, воспринимая все сразу в двух ракурсах: я видел то, что было перед моими глазами, и то, что рождалось в моей голове. Пока что эти две картины, возникшие и сросшиеся в моем сознании, трещат *по швам*, но это еще не так страшно: ведь их можно сшить по новой. Беда, если они порвутся *не по швам*.

Я попросил водителя остановить автомобиль впритирку к тротуару, чтобы яснее увидеть картину движения этого пешехода. Поскольку мы двигались в одном направлении, он довольно быстро догнал нашу остановившуюся машину, и все же его пе-

© Владислав Баяц, 2012

© Василий Соколов. Перевод, 2018

Редакция выражает благодарность Владиславу Баяцу за любезное разрешение безвозмездно опубликовать его очерк на страницах журнала.

редвижение противоречило нормальной логике. Он неуклонно приближался к нашей машине, но приближался, повернувшись к нам спиной. Другие прохожие очень внимательно обходили его, не выражая при этом ни малейшего недовольствия, старались даже случайно не задеть его, о грубом столкновении не могло быть и речи. Он тоже нисколько не выглядел озабоченным тем, что кто-то из прохожих нечаянно толкнет его, он не боялся споткнуться или, не дай боже, упасть. Но главное — удивление вызывал у меня не он, а то, что эта неестественная ходьба в сплошном потоке людей не поразила меня своей абсурдностью, а даже, наоборот, показалась совершенно уместной.

Любая неожиданная, необычная, картина после первой на нее реакции все же находит свое объяснение. А после того как рациональное объяснение найдено, флер загадочности улетучивается. Вот и водитель, заметив мой интерес к человеку, идущему задним ходом, не дожидаясь моего вопроса, любезно объяснил мне, что это еще одна из китайских методологий здорового образа жизни. Суть ее в том, что человек во время нормальной ходьбы в полном соответствии с законами инерции слегка наклоняет свое тело вперед, словно в любой момент готов рухнуть на землю. В таком положении человек проводит годы и десятилетия, и со временем его позвоночник, постоянно находясь в наклонном положении, деформируется. Хождение задом наперед выпрямляет и позвоночник, и все тело, и тем самым устанавливается идеальное равновесие между наклоном вперед и отклонением назад.

Несмотря на отнюдь не научное объяснение, смысл в нем все же был. Но весь этот смысл испарился, когда мой мозг по непонятной причине сопоставил подобное движение с тем, как движется человеческая жизнь во времени: я вдруг увидел перед собой человека, своего отца, и то, как он проживает свою (такую недолгую) жизнь — задом наперед. Как будто за секунду до смерти в пятьдесят восемь лет он решил повернуть свою жизнь назад и с этого момента двинулся не вперед, а назад, к годам своей молодости. Двигаясь в этом направлении, он терял мудрость и опыт, вместо того чтобы приобретать его. Он становился все моложе, но возможности его стремительно сокращались. Это было немного похоже на то, как если бы вы вдруг решили рассмотреть себя в зеркале, а там, в отражении, левая сторона вашего тела стала правой, а правая — левой, они поменялись местами. Здесь же изменилось направление движения во времени, вместо движения вперед — движение назад.

С этого момента я видел каждый шаг моего отца в моей стране, такой отличной от других. Но и мой отец тоже не был

похож на других. Через тридцать лет после его смерти, через тридцать лет, в течение которых я не удосуживался даже регулярно посещать его могилу на кладбище, он вдруг возник в моей жизни, словно мой сын, которому сейчас двадцать восемь, а не пятьдесят восемь лет! Молодой человек, которого мне еще предстоит многому научить в этой жизни. Стать отцом собственному отцу. То есть мой отец стал мне сыном.

Мне нравилось, что мои китайские гостеприимные хозяева показывали мне места, очень разные во всех отношениях. От Китайской стены (все, в том числе и они сами, называют ее Великой стеной) до чайной Лао Шэ, от Запретного города до Театра теней, от шанхайской башни (263 метра вверх турболифтом всего за несколько секунд), откуда виден мир на много километров вокруг — вплоть до зарослей бамбука и нищей (но знаменитой, древней) деревни Джу Джиа на реке Цао Ган, каких здесь насчитывают тысячи и которых несколько не стыдятся их обитатели. В одной из таких деревень мне пели три старухи, почти беззубые, упрямо ударяя в какие-то цимбалы и трубки. Пели они, выражая безмерную радость, просто фантастически, а отсутствие зубов не портило голоса. Деревня эта — на реке, нечто вроде небольшой китайской Венеции с узкими тротуарами и каналами вместо улиц. Незабываемо и плавание в крытой лодке размером чуть больше носилок, лодка эта не похожа на черную гондолу, но я никак не хотел в нее садиться, потому что она напоминала мне ладью Харона, в которой мой отец наверняка прокатился, в этом я был уверен. А возможность заглянуть в деревенские дома!.. Картина нищеты, наблюдаемая благодаря широко распахнутым дверям — как на полотне художника, бедность, которой никто не стыдится, потому что это *их жизнь*. Нищета, похожая на ту, что я наблюдал в центре Неаполя, а та, в свою очередь, напоминала нищету Индии. Нет, здесь никто не наслаждается бедностью, но все эти люди как-то странно смирились с ней. Двери домов постоянно открыты не только потому, что здесь нечего украсть: в китайской деревне в доме есть стол, стулья, плита и кровать, в доме в центре Неаполя — стол, стулья, кровать и телевизор, в Индии — стол, стулья, кровати нет. Так что прятать от чужих взглядов нечего. Ни от своих, ни от чужих.

Когда моя семья столкнулась с подобной бедой, отцу было стыдно не за себя, а за тех людей, которые довели нас до нее. Молодым карьерным дипломатом он вернулся из мира богатства, из-за границы; виллу, автомобили и небольшой зоосад в самом центре иностранного города заменила ему квартира посреди его родного Белграда, но из-за конфискации имущества, в связи с только что выявленным статусом отца как вра-

га народа, у нас не было совсем ничего — даже стола и стульев. Даже электричества. Во второй половине двадцатого века, в прогрессивной западно-социалистической стране, мы жили на полу, при свете свечей. И ждали, когда завершится драма, эпилог которой был ясен уже во время первого действия. Ждали и прятались сами от себя.

Я сбежал от своих гидов. Во время прогулки по селу все стремились попасть в таоистский храм. Он не был похож на туристический объект, но привлекал своим видом, соответствующим требованиям национальной религии. И в то же время удивлял своей открытостью. Я же побежал в буддистский храм, построенный в честь императора Цзин-цзун из династии Юань, никто из туристов его не посещал. И когда я вступил в него, в мою честь зазвенел колокольчик, который держал в руках сам старейшина монастыря. Это было приветствие, высказанное им и Буддой. На мое появление монах отреагировал мгновенно, но тут же погрузился в какое-то важное дело, склонившись над столом, стоящим у самого входа в храм. Он, как и следовало, оставил меня наедине с моим одиночеством. Этот монастырь, хотя и находился в самом центре села, сумел сохранить такое ощущение покоя, какого в любом другом месте невозможно ни создать, ни добиться. Кстати, китайцы в Средние века загорелись утопической идеей создать из таоизма, конфуцианства и буддизма — трех столпов философии и религии — единство (так называемая идея “три веры — единая вера” времен династии Мин). Не получилось. Как и христиане в свое время, китайцы отступили назад, создав из одной веры две, если не три. Представим себе, что сейчас вдруг кто-нибудь захочет возродить старую идею “трех религий и одного бога”, ведь тогда придется практически сразу, отказавшись от отъединенности, принять в свою старую веру и ислам, и иудаизм. Или индуизм и синтоизм.

Уединенная прогулка по владениям монастыря и по храму помогла мне собраться с мыслями, и я снова вспомнил об отце. Только он знал, сколь необходимо было одиночество, которое предоставляла ему семинария в Сремских Карловцах, где он старательно пытался совместить веру, науку и собственное земное бытие. Он думал, что будет заниматься божественным, но война отняла у него и что-то человеческое. Правда, война сотворила новых богов, так что его обет, возможно, тем самым был исполнен. Однако новые боги выставили ему серьезный счет.

Этот храм и его пожилые монахи выдержали санкции своего собственного государства. В течение десятилетий элитный, эксклюзивный буддизм не имел права выходить за пре-

дела храма. Такой вид вынужденного уединения не мешал монахам, их приучали к нему помимо их желания. И все же это мешало монахам, поскольку не позволяло самим прийти к мысли об уединении.

Из такого унаследованного абсурда, как хождение задом наперед и замалчивание существования буддизма при коммунизме, сегодняшний Китай, взяв отовсюду понемножку, создал нечто единое, казалось бы, несоединимое. К примеру, на Великую китайскую стену, на один из символов величия или даже грандиозности Китая, вы поднимаетесь снизу на современном подъемнике, словно на горнолыжную трассу. И тут, наверху, у вас перехватывает дыхание от красоты, длины и надежности этого верного защитника китайской идентичности, но потом вы переноситесь в реальность, когда, усевшись собственной задницей на крохотную тарелочку, мчитесь по желобу длиной в километр с лишним, чтобы вновь оказаться в долине, из которой поднялись. Летя на бешеной скорости, совсем как на бобслейной трассе, вы все же ни на секунду не забываете, что только торчащая между ваших ног палка (большой ручной тормоз) может спасти вас от катастрофического вылета из трассы и свободного падения. А внизу вас поджидают воины в традиционной одежде династии Хань, которые набрасываются на вас из-за кустов, пытаясь проколоть огромными, весьма устрашающими алебардами и пиками. Китч, сориентированный на обстановку и на то, чтобы доставить удовольствие туристу, чтобы турист насладился и обстановкой, и китчем. А еще, когда вы будете стоять на Стене, к вам приблизится буддийский священник и заговорит на каком вам захочется языке, и вы проникнетесь убеждением, что в этот момент вы уже погрузились в седьмой век до нашей эры (когда началось строительство Стены) или, по меньшей мере, в четырнадцатый век нашей эры (когда подошла к закату династия Мин), но — надо же! — в руке у священника банка кока-колы. Дешевый прием, но этот контраст весьма эффективно заставит вас очнуться. И только теперь вы осознаете, что этот гигантский змей, простерший крыла над Азией, начали строить почти две тысячи лет тому назад! Невероятные чудеса истории? Упорство? Интересно, а как Стена смотрится с Луны?

Один из самых главных строителей Стены, император Цинь Шихуанди (250 год до нашей эры) был одновременно первым императором, единым для всего Китая. Но как он добился этого? Благодаря контрастам. Он объединил страну с помощью армии в пятьсот тысяч воинов! Объединение страны силами такой армии может означать только одно — что ею было убито

ужасающее количество людей. Но и это еще не все: источники утверждают, что ради идеи объединения перебили две трети населения всех небольших государственных образований по соседству. Других покойников, тех, кто скончался во время строительства Стены, замуровывали в ее фундаменте. (Об этом и знаменитая легенда о Бине, которую поведал нам современный писатель Су Тун, мы беседовали о его книге о Бине на Пекинской книжной ярмарке перед пятью сотнями журналистов.) То ли скорбя по убитым, то ли прославляя свою армию, император приказал создать знаменитую терракотовую армию (обнаруженную много веков спустя) и похоронить ее под слоями земли — шесть тысяч воинов и столько же лошадей. Причем говорят, что раскопаны еще далеко не все. Абсурды нанизываются один на другой: для того чтобы изваять столько терракотовых фигур, скульпторам позировали ровно столько же настоящих солдат! Каждая фигура — реальный портрет, их лица не придуманы художниками. Советник императора Ли Сы использовал уникальный рецепт особого умерщвления четырехсот шестидесяти ученых людей (не только ученых в нашем сегодняшнем понимании, но и просто интеллектуалов того времени). Он любил развлекаться, наблюдая за крысами, и в процессе наблюдений заметил, что дворцовые упитанные крысы гораздо агрессивнее обычных, уличных. Из этого он сделал вывод: империи угрожает опасность бунта ученых людей, а под ними имелись в виду люди, относительно довольные своей судьбой. И потому он перебил их. О книгах лучше помолчим. Повелитель Ли Сы, тот самый Цинь Шихуанди, панически боялся, что его отравят. Отыскивая способ защититься от параноидального страха, он в 210 году до нашей эры, пытался изобрести противоядие. Лекарство какое-то время спустя было создано. Решив подстраховаться, Цинь Шихуанди принял его — и отравился.

Следующая династия (Хань) открыла знаменитый Шелковый путь. Судя по его влиянию на установление связей со всем миром, Шелковый путь тоже, наверное, можно увидеть с Луны. А также, вероятно, и тот морской маршрут, по которому в Средние века ходили китайские мореплаватели задолго до европейцев с Иберийского полуострова и из Венеции. Да, кстати, кто придумал компас и кормило? Таков уж Китай — весь в созидании и разрушении. Даже в периоды процветания происходило нечто прямо противоположное: так, одна из очень немногих в мире императриц того периода, Фу Хао из династии Шан (XIII век до нашей эры) какое-то время наслаждалась преимуществами своего пола, но гораздо больше она гордилась своим генеральским званием и тем, что войска под ее командованием разгромили два враждебных госу-

дарства. Именно она повелела приносить в жертву людей не только на полях сражений, но и при культовых обрядах.

Как-то раз журналисты попросили меня ответить на один важный вопрос: как бы я мог проиллюстрировать фразу “Весь Китай в малом” или, если так мне будет легче, — “Весь Пекин в малом”? В тот раз я не смог припомнить ничего, что бы годилось для одного или другого варианта ответа. Наверно, для этого надо было самому что-то пережить. Но теперь я знаю ответ!

Это чайная! И не какая-нибудь, а чайная “Благосостояние” из драмы Лао Шэ. Это был бы ответ на оба вопроса: иллюстрация и Китая, и Пекина одновременно, а также обобщенный образ чайной, характерный для первой половины XX века. Чайная из драмы Лао Шэ могла бы иллюстрировать и вторую половину XX века, хотя ни она, ни ее создатель даже предположить такого не могли. А я хочу засвидетельствовать, что она характеризует и первую декаду века нынешнего. Почему? Потому что она воплотила в себе так называемый многообразный Китай: прежде всего, в ней пьют наилучший в мире чай, а заварка — какую только пожелаете. Кроме официанток, которые обслуживают вас, соблюдая сложный традиционный церемониал, в нем участвует и еще один человек, виртуозно разливающий чай. Он придерживает одной рукой за затылком длинную, больше метра, полулю деревянную трубку и, согнувшись к самой земле в клоунском поклоне, наливает через деревянную трубку чай в чашку, которую держит в другой руке почти на уровне пола. И все это он проделывает с невероятной быстротой, не пролив, разумеется, ни одной капли мимо.

Потом вам подают самые разнообразные блюда, которые не только по вкусу, но и по внешнему виду являются произведениями искусства. Поверхность грибного супа с различными специями полита зеленым соусом, который сохраняет форму знаков “инь” и “ян”! Не двойственность ли мира явилась предомной во плоти? Мне доводилось встречать утонченных гастро-сексуалов, не решающихся нарушить внешний вид блюд или покрывающую их глазурь, и потому они передавали их друг другу с помощью вращающейся столешницы. Нерешительность они оправдывали любованием. Но спустя какое-то время все же приступали к еде. И тут они являли миру свою ненасытность, ибо устоять перед искушением было невозможно.

На столе уже поменялись десятки блюд и в ходе этого длительного процесса на сцене появляются четыре юные исполнительницы на древних струнных инструментах (но не с металлическими струнами, а со струнами из натуральных волокон). По залу разливаются звуки самой природы. К концу затянувшегося обеда, который не превратил вас в битком

набитый, неподвижный мешок, в затемненном зале начинается представление Театра теней. На экране — подвижная сценография, а актеры, дирижирующие неживыми фигурами, просто великолепны. Вы их не видите. Они — тени тех, кем они управляют. Тени теней. Удивительно.

И в заключение этого гедонистического спектакля “Весь Пекин в малом” в этой же самой чайной Лао Шы вам покажут роскошный магазин, в котором можно купить любой чай. Сотни сортов. Особую прелесть этому месту придают редчайшие чаи, выращенные и доставленные из буддистских монастырей. И если вы как рядовой турист пожелаете сфотографировать это оригинальное пространство, вам скажут, что этого делать нельзя — из-за Будды, который опекает чай (во время произрастания, а возможно, и во время продажи). Нельзя фотографировать чай! Чай, который “всего лишь” одна из семи так называемых *ежедневных потребностей* древнего Китая: наряду со щепой для розжига, рисом, маслом, солью, соевым соусом и уксусом. Видимо, из-за ежедневной потребности он и стал в Китае почти что божеством.

И когда вы уже думаете, что вдоволь насмотрелись контрастов, вас настигает еще один, самый большой: переезд из Пекина в Шанхай. Из города, растущего в ширину, в город, растущий в высоту.

Но и Шанхай опять-таки сам по себе тоже контраст. Он в буквальном смысле состоит из двух частей: их можно назвать старой или новой, или, что еще лучше, китайской и европейской. И разделяет их река. Почти как два города. Я бы подумал, что это невозможно, если бы сам не жил в городе, где тоже есть новая и старая часть, так сказать, австро-венгерская и османская, или сербская и турецкая, или посткоммунистическая (точнее, социалистически-либерально-капиталистическая одновременно) и капиталистическая, где есть и река, которая их разделяет. Таков Шанхай: одна половина — прогрессивная, оторвавшаяся от коммунизма, с двумя с половиной тысячами зданий в тридцать и выше этажей (которые спроектировали и выстроили сами китайцы), и вторая — регрессивная, с архитектурой конца XIX — начала XX веков, исключительно европейской и отчасти американской архитектурой. Одна половина отдана труду, другая — эстетике. В одной люди напряженно трудятся, другая предназначена для траты денег. Одна — новоазиатская, другая — староевропейская. На “китайской” стороне порта вас встречает надпись на памятнике морякам: “Смотрим в будущее, вспоминая прошлое”. На “европейской” вас встречает современная писательница Ван Аньи со своими романами, посвященными исключительно шанхайскому прошлому.

В новом Шанхае и рестораны выглядят иначе. В одном из лучших с великолепной южнокитайской кухней гордятся огромной фотографией американского президента Клинтона с супругой в окружении персонала. А также и блюдами. Еда хорошая, но совсем другая: скажем, крупные яйца — желтая икра, медузы и суп из плавников катрана.

Родители сопровождают нас по всей жизни. Даже тогда, когда наши дети и внуки никак не могут представить, что и мы были когда-то молодыми, не могут понять, что и мы (все еще) чьи-то дети. Эту непреложную истину они смогут осознать, только если вы вдруг громко произнесете: “Ну, мы же все родились!”. Только тогда ваши слушатели задумаются над этим. Ведь все привыкли к тому, что “все умирают”, но не к тому, противоположному, что предвещает смерть. Мы умрем вместе со своими родителями. Вот тогда мы по-настоящему будем с ними.

На Стене отец напомнил мне, что он, происходя из православного священнического рода, неожиданно ринулся в коммунизм. Между этими двумя крайностями пролегает история о его героическом подвиге — спасении ста пятидесяти сирот в годы Второй мировой войны, история о том, что он ушел с ними к партизанам — за исключением одного парнишки, избравшего четников (а его родной брат — отказался). Я долго не переставал удивляться, как странно все переплелось в жизни моего отца, пока однажды он не сказал мне: и коммунизм когда-то был внове, он, был, так сказать, авангардом XX века, почти как сюрреализм или дадаизм. Тогда такие движения увлекали многих, бедняков — надеждой на социальную справедливость, а интеллигенцию — возможностью усовершенствовать столь несовершенный мир. То ли в художественном плане, то ли в политическом.

Он так опекал тех ребят, словно они были его детьми. Как император, османский или китайский, или какой-то другой, руководящий сотнями своих внебрачных детей. А когда его гарем рассыпался, он остался с двумя сыновьями, которыми он так и не смог (или не сумел) заняться. Я — наследный принц фон Баяц, обеспокоенный отсутствием наследства, — был вынужден самостоятельно отправиться в мир, чтобы отыскать его. Но и на сегодняшний день так и не нашел ни наследство, ни веру, ни даже самого себя, не нашел и истинную причину, заставившую меня отправиться на поиски.

Но нашел — Китай. Который идет задом наперед. Что и следует делать, чтобы мир выпрямился. И спасся.